

Памяти Д. Б.

То был бензин. Поднимая буграми линолеум, омывая ножки стульев и стола, пропитав повисшее по краю дивана покрывало и длинные занавески («зачем подшивать? Топорщатся. Пусть. Вздываются. Как речные воды в непогоду, что ли»), по щиколотку вошедшему. То был бензин: тѣк он в комнаты, дальше, плавно, медленно, расслабившись, коснувшись уже, а значит и спешить не надо.

В. вышел тогда, подобрав полы пальто, из квартиры («кто-нибудь, да подожжѣт, найдутся»), и больше туда не вернулся. Ему не с чем было сравнить то смиренное, но тяжкое чувство, с которым он заставил (даже лучше сказать — убедил) себя не входить больше в дверь своей квартиры. Будь с чем сравнить, он сравнил бы это с желанием толкнуть человека, связь с которым так важна для него, в реку; толкнуть его, и без того тонущего, отцепив руку от своей — поданной, но мгновением позже отнятой.

Бывало, холодно, и некуда приткнуться — решительно некуда! Такое может быть, поверьте, некуда; казалось бы, да бродяга всегда найдѣт тѣплое место, он знает таких мест в разы больше нашего, но нет. Ему было некуда приткнуться. И тогда В. взял связку ключей от своей

квартиры, и бросил (за неимением реки) в сугроб. Не стал искать. Отошёл. Ушёл. Помнил, в каком дворе, да разве найдёшь теперь? Это как в траву чего прятать. В. вспомнил, он ребёнком спрятал плитку шоколада в траве, у входа на дачный участок, а потом искал, искал, ошибившись всего-то несколькими сантиметрами. Он, однако, нашёл пропажу через какое-то время. Но то было, можно сказать, испытанием.

Ключи же В. искать не стал. Так, как некоторые люди пытаются забыть (и у каких-то это получается, хоть я никогда такому не верила) свой возраст, В. стал забывать свой адрес, и постепенно, как показалось, это ему удалось, но В. не знал, забыл ли он, или это называется не «забыть», а как-то иначе.

Когда В. заболел, в горячке он провёл две ночи, видя в так называемом сне допросы (но не участвуя в них), линованное пространство, — красный, белый, чёрный, — худого и бледного человека с плёткой, и Александра Ивановича Герцена — не со своим лицом, но принявшим иной вид, однако рассказывающего о концепции свержения самодержавия. В., очнувшись, хотел призвать Герцена вновь, даже позвал, правда, бессвязно, замысловато, но так, что, будь А.И. рядом, — услышал бы, пришёл бы. Однако Герцена рядом не было.

В. выздоровел через какое-то время, и, пережив переход к потеплению (пережив, потому что болит голова несносно), — вышел утренней ночью на улицу, то было чем-то вроде ритуала, потому как зимой на улицу редко выйдешь, но, пережив ночь перед потеплением, выйдя на мокрую таявшим улицу, В. постоял, постоял, да пошёл дальше. Медленно он шёл по безлюдному, «интересно

было бы посмотреть, сожгли, а? Адреса не помню...» — думал В., и всё же не понимал, забыл он адрес, или это называется не «забыть», но как-то иначе.

И шёл В., шёл дальше. Остановится, постоит, постоит, и идёт. Никого, радостно, но вместе с тем и зябко уже, — В. увидел крышу, что продолжением здания стоит на колоннах («кто это придумал?»), и прошёл В. под крышу, и остановился В. в тени угла, как вкопанный встал там, даже не переминался с ноги на ногу, хоть и холодененько стало, но он просто стоял в этом углу, вспоминая свою недавнюю лихорадку, стоял и смотрел из-под крыши куда-то влево. Зимой ночи длиннее, человек — сильнее. Два динозавра пролетели над крышами двора. Незаметно рассветало.

Рассвело («светлее сегодня и не станет» — подумал В.)

*

Тем же часом я сидела на лестнице подъездного помещения и ела фотографии — одну за одной. На фотографиях этих — человек, мне знакомый, и я запихивала его в себя, откусывая по кусочку глянцевой плотной бумаги, жуя (тридцать три раза? Правильно?), глотая; теперь он со мной, более того, во мне.

Я доела фотографии и вышла на улицу. Я в шаге была тверда, синагога открывается позже, я помнила, как вечером одним я выходила из-под моста, и красные звёзды светились на воротах завода, и не было ни человека, и машины не останавливались. Даже остановись хоть одна — что она мне? И что ей я.

Теперь же было утро. «То же. И человека ни одного, и машины ни одной».

Синагога открывается позже. Я однажды там видела,

под потолком (а потолки низкие), в прорезанном окне висела голубоватая ткань, и за ней трепыхалась большая чёрная птица, я не знаю, ворона ли это была, но трепыхалась она, билась о ткань (стекла не было — лишь эта голубизна тканевая), однако не так, будто попалась, но так, будто самовольно и без страха делает это. Я посмотрела на чёрное тело, но оно совсем скоро (после пары волнений и хлопков крыльями) исчезло, и тканевая завеса осталась волнуема только незаметным в тех стенах ветром. Теперь рано ещё. Закрыто. И я остановилась, погреться «где бы?» («Лужи замёрзли!» — говорила я как-то Инце, в первые заморозки осени — так они меня удивили. Его — нет. Тогда его уже начало переставать что-либо удивлять, и, дожидаясь меня, он уже включил зелёный светильник в ванной, точно костёр разжёт, но в доме-то — деревянная пожарная лестница есть, я это знала.)

В здании почты, под козырьком — дверь, закрыта ещё, конечно. Тогда я завернула за угол, и под крышей (что за место — продолжение крыши дома, стоит на колоннах, а меж ними — ничего, лишь асфальт, деленный на квадраты, может, придумали убежище от летающих? «Да кончено...» — я в мысли смеялась. До строительства убежища нам здесь было ещё далеко. Однако это место давно здесь, оттого я и не задавалась вопросом, для чего оно вообще предназначено, но стоило остановиться теперь и постоять чуть дольше, как сразу), пройдя дальше, в глубине, я увидела: стоит человек. Не испуган он и не замёрз. Не вор, как мне показалось, и не пленник. Не мертвец, и не жилец. Весь в сером, пальто длинно, прямо, «ждёт чего-то», и он, будто отвечая мне о своём здесь пребывании, сказал:

— Дождь, — и махнул рукой в сторону уличного про-
света, что из-под крыши виден, — а я замёрз что-то!

— Дождь? Да... — ответила я, но смотрела на собесед-
ника.

— Здесь раньше обменник был. — Указал он теперь
на замурованное окошко в стене. — Лет двадцать назад.

— А, да, я помню.

Мы постояли молча. Тогда я, вспомнив о раннем часе,
вышла из-под крыши и, пройдя чуть-чуть, остановилась
у двери на почту. Я стала стучать в стекло двери, но оно
не билось, тогда, вернувшись под крышу, я увидела, что
человек из своего угла протягивает мне камень тротуар-
ной брусчатки. Я, кивнув, приняла камень в свои руки,
и я вернулась к двери почты, и я разбила стекло двери,
«за все письма, которые от меня не дошли» — думала
я, когда стекло разлетелось, я швырнула рядом и орудие
своё — не из ярости уже, или праздности, но оттого, что
хотела покорёжить и саму дверь, однако, увидев, что сде-
лать это невозможно, я вернулась под крышу, человек
там всё ещё стоял, я подошла близко к нему, левая шта-
нина его была пачкана зелёной краской (ещё с прошлой
весны, наверное), пальто засалено на тех местах, где
и бывает быстрее всего засалена одежда, но только его
одежда салилась на протяжении долгого времени, одна-
ко вместе с тем интенсивно. Я пожала плечами, говоря
таким образом, что камень его не принесла назад. Он
махнул рукой.

— Спасибо. — Сказала я ему и осталась близко к нему
стоять, переминаясь с ноги на ногу, оттого, что начинала
мёрзнуть. Мне вспомнилось, что в доме неподалёку жил
алкоголик Андрей. Сколько я его помню, — он всё пил.
Однажды, уже будучи взрослой, я выходила из подъезда,

а Андрей сидел на клумбе у самого этого подъезда, сидел он с костылём в руке и синяками на лице, он, видимо, гулял, а я, распахнув с силой дверь, ударила ей Андрея, но, обернувшись, извинилась. Тогда я увидела, как он посмотрел на меня и как пожал плечами. Это был вид человека, которому никто не говорил «извините» уже очень давно. Я, конечно, не знаю, что это может быть за особенный вид, но тогда, увидев реакцию Андрея, сразу поняла, что вид такой существует, Андрей встрепенулся и стал бормотать, он смотрел на меня, и он не понимал, что сказала я, он будто спрашивал, действительно ли я сказала «извините».

— А какие-то умудрились на крышу влезть. — Начал мне старик из теперь уже нашего угла, потому как я стояла близко. Но старик ли он был? Кажется, нет. Зарос — головой и лицом; бродяга — в пальто и клешеных штанах. Я не знала его, но знала, что, должно быть, болит рука, или руки, и голова — хотя бы от смены погоды.

— Я туда, — если только решусь стать добычей, — продолжал бродяга, — а я скорее отдам себя докторам, чтоб выварили меня всего, выпарили, хе-хе. — И он замолчал.

Я закашлялась. Сильно я кашляла, долго. Тогда открывалась уже синагога, я прикинула по времени, и, кашляя всё ещё, но уже тише, я пошла в ту сторону, где стояла она.

*

И вам, и врагам может показаться, будто рыться в мусорном баке, да и в урне — не очень-то, однако иногда кое-что находится, даже недошедшие письма, распечатанные, чьи-то.

Можно сказать, что лезть рукой в урну — это как бы

окупаться зимой в холодную воду, входить постепенно. Но так поначалу.

Пока я шла по направлению к синагоге, покашливая ещё, я не остановилась ни перед одной урной, я не смотрела, вывезли ли уже мусор из баков (по времени — должны были), я просто шла, запахнув куртку на груди, вспоминая, как простыла.

Мне казалось, произошло это в тот вечер: я лежала на скамейке во дворе, представляя, будто я в углу одиночной камеры, или в кровати комнаты, в которой я жила подростком. Я поворачивалась на левый бок, представляя, что поворачиваюсь лицом к стене, и я, поднимая голову, смотрела на Луну, представляя, что она видна мне сквозь окно — сделать из неё лампу было бы неуважительно, да и круг света лампы ближе и больше — не всегда, но на моей памяти.

И мне спалось тревожно, горячечно, однако вместе с тем и крепко. Только скоро я проснулась. Пошла в темноте. Я дышала, помнится, ртом, и похолодало... думаю, тогда я и простыла, потому что, начав той ночью, я стала подолгу кашлять, и не стояло что-то в груди моей, забивая её, как бывает это перед началом сильной простуды, а ходило, распускалось, царапая изнутри, и точно ветер гонял сухой мелкий песок по моей грудной клетке вверх-вниз.

Теперь я шла по направлению к синагоге, она невысокая, она старая, приступ кашля моего поутих, ещё раз, ещё, а пол в синагоге выложен плоскими камушками, что лежат, повернувшись ребром.

Я вошла внутрь («У каждой души было имя»), я здесь когда-то видела биение птичьего тёмного тела за голубоватой тканью... она выгорела, что ли, эта ткань?

Но теперь здесь темно. Всё оттого, что по прошествии утра теперь не светлеет, только наоборот. Я вошла внутрь, и не было здесь народу, и никто не смотрел на меня (разве что из недр, из вовсе не освещённых углов, да и думать не хочу, что кто-то видел.) Я прошлась и посмотрела на камни стен, и я ничего не знала о том, как происходит в синагоге служение. Я смотрела по сторонам в тиши и утренней, даже не дымчатой, но просто бессветной темноте, несмотря даже на свершившийся уже давно восход (теперь Солнце стояло холодным светлым кружочком над всем, а перед ним медленно шли слившиеся в единое, однако имеющие контуры, бледные облака.) Я подумала — может, здесь и не будет никого? Может, напали, утащили летучие, «да нет, следов бы было...» Я глянула ещё раз вокруг, но, найдя прорезь окна, что было когда-то занавешено голубоватым, увидела лишь голый проём, и я развернулась, пошла к выходу («У каждой души было имя. Когда все они прошли сквозь ворота ада, им дали номера»), у этой синагоги когда-то сгребли по осени листья в кучу под большим безкорым деревом, да забыли убрать, и горкой лежали скрученные и крупные листья.

Выйдя из синагоги («У каждой души было имя. Когда все они прошли сквозь ворота ада, им дали номера. Когда все они поднялись к небесам, то остались под номерами»), я, не успев ещё и вдохнуть холодного воздуха, закашлялась, да так, что принято говорить — лёгкие выкашляю, однако не казалось мне, что я выкашливаю свои лёгкие, и даже представление о их кусках, что выходят из моего рта, не ранили, не пугали, не отвращали меня. Я лишь плевалась прозрачной тянущейся жидкостью, и она не казалась мне ни чем-то большим, ни чем-

то противным. Так стояла я и кашляла. Люди, проходившие мимо меня, зыркали и, отворачиваясь, скорее всего в безразличье, шли дальше. Я никогда не просила в синагоге приюта, но я знала, что, если таковой мне понадобится, я попрошу его здесь, я попробую попросить его здесь, хоть и не было представление моё о таком приюте тем же, каким оно было, к примеру, семь лет назад.

Я двинулась от двери синагоги («У каждой души было имя. Когда все они прошли сквозь ворота ада, им дали номера. Когда все они поднялись к небесам, то остались под номерами. Каждое имя заслуживает упоминания») — прочь. Всё то время, пока я была внутри, на улице тепло. Капает, мешается всё это в мелкую жидкую грязь со снегом, я, еле откашляв последние хрипы в груди и горле, остановилась у пятиэтажного дома: сквозь стёкла его подъездных окон я видела зеленоватый свет, точно таким же, зажжённый, он был в ванной Инце, таким же, холодным и зелёным. Я вспомнила, как пожаловала тогда к нему домой в последний раз. Загнанные сами собой в задымлённую эту зелень ванной комнаты, мы оказались в одной ванне, точно в одной лодке, и волосы плоскими извивами легли по спине моей и плечам, «Развернись» — сказал мне Инце. Я развернулась. Я стояла теперь спиной к нему: «Так?», и Инце отвечал «да». Я размазывала по телу своему жижу мыла, а Инце сидел в воде, её было на дне, и Инце смотрел на меня, снизу вверх, он смотрел на меня, он водил пальцами. Я развернулась, как он и сказал. Я развернулась, поднялась в воздух и разбилась, упав в ванну, разлетевшись осколками, что попали Инце в глаза.

Вспоминала я это теперь, глядя на подъездные окна дома о пяти этажах. Я знала, что Инце сейчас, может

быть, там же, в этой же ванне, но вытащил ли осколки из глаз? Так я пошла дальше, и за поворотом из двора названного дома стояло здание почты, я видела людей у входа её, они меняли стекло, шуму-то, должно быть. Я не решилась подходить, но свернула под крышу, где никого теперь не было, а я, было, думала заговорить с тем бродягой, да где же он, куда он мог деться? Постояв так под крышей, я решила уйти: что, если все знают, кто разбивал стеклянную дверь? было бы ошибкой недооценивать бдительность, и я покинула тёмный угол убежища так, что меня никто даже не увидел. Шла я быстро, точно боясь погони (а внутри меня, правда, волновалось всё, точно я уже узнана, найдена, искана.)

Где бродяга? «Не под снегом ли?» Но смеюсь — да какой теперь снег, разве что в сугробах сохранился.

Я шла быстро не оттого уже, что боялась работников почты или полиции, но оттого, что думала встретить моего утреннего знакомца, обежать, да, так, быстренько, округу, и встретить его, поговорить, «не мог же он далеко уйти» — думала я, и мчалась, минуя за двором двор, проходя за дорогой дорогу, и холодно было мне, я набила в грудь зимнего воздуха и, остановившись, закашлялась, да так, что чувствовала: болит моя спина и болит мой живот от содроганий этих, и лучше бы тогда не останавливаться, а кашлять, кашлять. И слёзы застлали глаза мои, я подалась влево — к стене дома, в котором подъездные окна — так же зелены, только я не видела этого: я крючилась, кашляя, опершись о стену дома, плюя себе под ноги, на разжижённый снег. «Как жаль, что он оказался таким, — думала я, стоя под этим светом, как тогда, под таким же, в ванне, — жаль, что он оказался таким», и зеленели окна дома, как будто лампы — замученные,

задыхающиеся от газа — зажгли в каждом из них.

*

Превратиться в комету и врезаться в землю именно в том месте, «в котором стоит мой дом» — вот о чём, бывало, думал В., занимаясь тем, чем может, проводя дни так, как знает.

Оставшись одним стоять в углу под крышей почтового здания, В. молчал, хотя, бывало, внутренне он говорил так громко, что ему казалось: он говорит вслух. Но он стоял, молча, и смотрел куда-то влево.

Замёрзнув, В. двинулся из-под крыши к дороге, «пройдуся, — думал, — согреюсь немного. Вон, дождь». И В. пошёл, топча тонкий слой жидкой грязи, с ветвей деревьев капало чаще, нежели с неба, по голове и за шиворот — по тяжёлой капле, и рукава, и спина постепенно становились мокрыми, а В. всё шёл и шёл, он то ли не знал здесь убежища, то ли не мог такое выбрать, то ли не нуждался в нём. Задняя дверь магазина, возле — курят, стоят, в форме рабочей, кожа рук высохла — от пересчитанных денег, от горячего воздуха в помещении. В. посмотрел на свою руку, палец безымянный на правой болел, вокруг заусенца покраснел, будто даже опух немного.

В ботинках В. шевелил пальцами ног, в карманах — пальцами рук. Он сворачивал по дорогам, он пробирался вглубь по спирали, выстроенной стенами домов и приводящей туда, куда В. и следовал — он шёл уверенно, точно знал место назначения и, безошибочно, дорогу туда. Погода менялась, наверное, обещают что-то к вечеру, каждый день к вечеру — обещают, но голова не обманет: болит.

Вот В. замедлил шаг, свернул по дороге во двор, и,

смотря под ноги («не замёрзла ещё эта жижа, нет? Холодно»), шёл, не осмеливаясь поднять головы, так он шёл как-то в темноте погуще этой, и мелодия малоизвестная прижимала его к обмёрзшей земле, дёргала его без траектории, но, может, рывками такими рисуя на мёрзлом асфальте звезду, чтобы залить её после краской. «Где-то здесь» — думал В., он стоял у сугроба, что скрыл и бордюр, и ограду жёлто-зелёную, «но где, где...» — только и подумал В., как плюнул на всё, его повело сознанием в одну сторону, ногами в другую, закричал бы, будь голоса больше, и В., повернувшись спиной к сугробу, поднял вверх голову («раз, два»), и увидел в окне своего дома пламя. Тогда В. повалился спиной в этот влезавший на изгородь сугроб, и стал смотреть. Скоро дым, тёмный, начал подниматься из окна, и дальше, долез до крыши, а там и по небу пошёл — не караваном, но паровозным следом, а небо «темнее уже» — подумал В. и закрыл глаза.

И видел В. за сомкнутыми веками, как стоит он — в срединном месяце зимы — по плечи в жидкости, коей полон ров: холодная, — не напиток, холодная, — не выйти, и В. оседает, подогнув ноги, на дно («да помиловать меня»).) То был бензин.

НА СЕРЕБРЯНОЙ ЦЕПИ

Бродяги влюбились на ярмарке. Она открылась уже, на неизвестной мне площади, маленькой, мокренькой от сегодняшнего дождя (собор теперь уходит ввысь в обе стороны — вверх и вниз.)

Играет музыка, — что-то по душу наших матерей, наших отцов, — между двумя ярмарочными палатками (деревянные, они походят на избышки), у самых углов их, двое бродяг стоят. Мужчина высокий, молод, в плаще длинном, в шляпе, а женщина — ниже ростом и старше него — танцует, к нему очень близко, она свои руки держит так, будто дотронется ладонями сейчас до его груди, однако не касается, а танцует, всем телом стремясь, и стремление это возлагая на возлюбленного через жест своих не касающихся рук. Она в то же время и сдержанна, и в сочетании сдержанности этой и стремления — свобода, что дана танцующей или с характером, или с бродяжничеством. Если с характером, то весь танец был под стать ему. Мужчина же улыбался, и по улыбке его было ясно, что ладони, которые не касаются его сейчас, уже касались его ранее, и это давало улыбке его спокойствие, умиление и уверенность — никто ничего не ждал, все знали.

Бродяги влюблялись. Я прошла мимо, завернула в переулок (вода везде, везде мокрая эта брусчатка, наконец-то, в ясные-то дни и настроения нет.) Сумка в моей

руке висела не так высоко над землёй, и полно было только её дно. Я прошла по проспекту, свернула, перейдя через дорогу; на углу улицы — свечи, цветы, — в память об убитых студентах, приходится обходить: так много, на проезжую часть — ещё чуть-чуть, и залезут, вылезут, преобразившись, выйдут, превратившись, встанут умерщвлёнными телами, и продолжат демонстрацию.

По винтовой лестнице я взошла на третий этаж. Было как-то, с температурой тела тридцать восемь, я спускалась по ней же, думая, что меня ждёт, а, может, я подумала об этом позже, спускаясь же, я была захвачена лишь спуском — держа перила, балансировала; а лестница старая и кручена: так спирали вились у меня внутри, когда слышала музыку: выются, вверх, спирали, и сквозь глаза — наружу. То была музыка, слезающая со стен собора (будто таится там долгие годы, замерев, окаменев, и вот — движение. Ползут — не горгульями, но иными какими-то существами) ко мне: Эллен поёт третью, и роза (смеркается) виснет (свет заходящего Солнца — сквозь лепестки) над головой распятого, а я закрываю глаза, и музыка прорывается спиралями сквозь них — наружу.

В моей комнате стены — терракот, мало кому понравится, но окно — высокое, а какой бы подоконник можно было сделать, не будь этого громадного расстояния между внешней и внутренней рамой! Костёл у окна моего — снаружи. Он молчит всегда. Нет, было один раз — кто-то репетировал вечером на органе, я перешла дорожку от подъезда к звуку, подёргала дверь, а она — закрыта.

Я живу здесь не очень давно, но я купила шторы, я испачкала шторы, я оборвала случайно один конец што-

ры, и мне не хотелось снимать её для стирки — от греха подальше.

Я оставила сумку с покупками у двери, только вытащила кусок сыра, маленький и треугольный, обёрнутый, его — между двумя рамами суну, чтобы не испортился. О, да там за счёт моего широченного подоконника столько места, что влезет весь сырный прилавок, над каким я стояла в магазине, проверяя цену самых маленьких кусков.

Я разделась и положила одежду на стул, она возвысила спинку его, но не ровным продолжением, а таким горбом («Ты, я смотрю, тоже любишь разбрасывать вещи! — говорила мне Лиля. — Когда я съехала от родителей, то поняла, как это раздражает, теперь у меня везде порядок»). В одних трусах я уселась на кровать. Если бы ни это окно, такое высокое, то какие шпиди. Хотя, нам и под уличными лампами было, знаете, очень... они желтят весь переулок, всю улицу, площадь — большую и маленькую, и если слезящиеся от ветра глаза сощурить слегка, то каждый фонарь, его макушка, разойдётся линиями в две стороны, а фонарей — несколько, вот они и полосатят раннее потемнение и блеск чёрного камня, по которому копыта — дальше, дальше, свернули, исчезли.

Я налила в стакан воды и стала пить.

Что-то непривычное я заметила ещё днём: слишком много людей, и я, вроде как, не вижу ничего особенного, но чувствую беспокойное отдалённо. Будто в людях тех было что-то иное: они не приехали сюда из другого места, нет, они вышли из того же города, но словно выползли из-под земли, оттого и казались чужими. Теперь они здесь.

Бывало, я думала: каково это, когда на главной пло-

щади твоего города чужаки? У меня, конечно, нельзя сказать, чтобы город свой был, но была эта комната, и она находилась в городе, что принял меня со второй попытки, хоть и грех — говорить так. Тогда гремела фамилия на «К», фамилия на «Д», а я была на третьем, значит — не я под фонарями, а они подо мной.

Я допила воду и поставила стакан на тумбочку у кровати.

Да, в тот день, когда я преодолевала, сцепившись с перилами, ступени, в жаре, я, пережив и подъём назад, легла в кровать, на бок, и думалось мне, что я умираю. Мне было приятно и смешно. И я улыбалась, и я думала. Умирать? Так, на боку — к стене, на которой полосы чёрные, тонкие, будто царапал кто, это до меня кто-то, точно, а почему царапал? — уже не узнать, и уже знать не надо. Умирать? И думать-то о Шекспире, да о Грише Папоротникове, точно скоро всё пройдёт, но ведь и впрямь, наверное, пройдёт! Всё равно. И радостно.

Тогда я не умерла. Вот, сижу здесь, в этой же комнате с высокими стенами, как в колодце, только в последнем окна нет (если не считать того, что сверху.)

Я легла в постель, я выключила лампу. «Мой стакан пуст, братцы», и я заснула.

*

Наконец-то поутру серо. В этом всё в порядке. Остальное — беспокойно, и я знала, что лучше побыть здесь. Ещё чуть-чуть здесь. Но скоро я вышла из дома, подумав, что так, вероятно, безопаснее. А вообще я просто позавидовала бродягам, ведь они похожи на тех, кто не боится. И я решила, лучше пойти, нежели быть найденной в своём жилище, и, более того, быть из него вырванной, или вытянутой, вырезанной, выгнанной,

невольно воображается рак, не правда ли?

Пройдя проспект, я свернула налево. Почему-то я волновалась за мост (да что с ним могло случиться?), нет, чтоб думать, куда бы сгинуть.

Я дошла до моста. Народу на нём видимо-невидимо, так что я прошла до середины его, и повернула назад. Главное — мост в сохранности, и я убедилась в этом. Не то что бы два берега оказались несоединёнными, не стань моста, нет, мостов в городе несколько. Не хотелось лишь, чтобы мост лежал под водой, как тот, кого с моста этого бросили (думается мне, он не единственный.)

Выйдя с моста, я огляделась. Здесь предлагают что-то купить (однажды мужчина, что ел мармелад из пакета грязными руками, подошёл ко мне у светофора, и спросил — «марихуана?»), и продавец кукол управляет марионеткой Пиноккио так, что тот танцует очень подходяще звучащей музыке; чуть дальше, у памятника (чулок, складки ткани на колене, лайкры-то не было, и пусть, потрогать бы) — туалет, и чернокожий моряк ждёт кого-то (беги!)

Перейдя дорогу, я прошла прямо, потом углубилась в город, там — так же, как и вчера днём, та же степень беспокойства, я лишь опасалась, перед самой собой делая вид, будто недоумеваю, на самом же деле — зная. Тощий, похожий на подростка парень, голова его брита, и закатаны штаны, он бледный и бита для бейсбола в его руке. Я уставилась в землю («Я? Я? Я здесь ра-бо-та-ю, я...я кручу тут тесто на деревянных этих штуках, видишь? С корицей, орехами, хочешь? Я рабо-таю. Просто работаю здесь».) Он прошёл мимо. Я ускорила шаг и свернула.

*

Мимо стены, исписанной, пачканной, пахнущей, я шла (вдалеке две фигуры, скрылись скоро, я не поняла, куда), и вышла на улицу, там, на углу, у здания, стоял бродяга и разглядывал свои руки. Он разглядывал их не потому что хотел узнать, сколько ему осталось жить, не потому что практиковал осознанные сновидения, и не почему-либо подобному. Все кисти рук его были покрыты коркой телесного цвета, и я видела ещё трещину, да, — с противоположной стороны улицы — я видела, по крайней мере, одну красную трещину. А бродяга смотрел, вертел руки свои, и смотрел, будучи в отчуждении — не потому что он бродяга и обижен чем-то, кем-то, а потому что он знал, что он бродяга, что руки его болят, и он был тих, беззлобен, скромн, он стоял и смотрел на свои руки, я же стояла и смотрела на него и на руки его, и потом я двинулась по улице вперёд. По правую сторону от меня, напротив дома, у которого бродяга и стоял, помещался магазин с дорожными сумками и чемоданами. Разноцветные, с узорами, они были мне противны, и только руки бродяги — милы. Мне бы хотелось дотронуться до них и излечить их. Мне бы хотелось вытащить из карманов бумажные деньги и дать их бродяге. Какой он... стоит и смотрит. Он не был частью этой улицы, но и не хотел нагрязнть, завоевать её, заявить о себе. Он молод, и у него такие волосы... красивые волосы. И у него же, наверное, есть любимая песня. Какая же это песня? Какая у него любимая песня?!

Однако я удалялась, и я не возвратилась к углу дома. Да у меня же есть сотня, и даже ещё несколько сотен в другом кармане, или в кошельке, почему я... Но я шла,

и я шла, скоро, может, и не нашла бы уже этот дом, и угол этого дома, а всё, что было передо мной — чуть прикрывающие лицо коричневые волосы и красная трещина на левой кисти руки. Он знал. Всё он знал, от того такой вид, — может сойти за пришибленный, — вид человека, знающего свою жизнь и дело своё, от того не требующего от остальных — ни внимания, ни благ. Как это называется? Самодостаточностью? Казалось бы — вернуться, всего несколько поворотов, и назад, к углу того дома, где...

Чего я боялась? Инфекции? Слова сказать боялась? Остаться без денег? Так я однажды не смогла догнать «полоумного»: он играл накануне на площади — из лопаты соорудил гитару, а деньги, пожалуйста, сыпьте в ведро («он что, дачник?») Сутки же спустя, стоя на проспекте (мокро всё, листья приплюснуты, прибиты к камням тротуара, жёлтые, почти круглые, большие), вижу: стоит, в том же комбинезоне, что и вчера, только (в такой-то холод) футболка красная теперь, ест хот-дог, ест быстро, и я — давай думать, как же сказать, но подойти — точно, и я мнусь, одёргиваю пальцами пальто, я закуриваю (это непременно, под мою речь подходяще), и, повернувшись в ту сторону, где «полоумный» этот (не я так его прозвала) стоял, увидела, как он пошёл по проспекту в противоположную мне сторону, — там дома давали больше тени, и сужался тротуар, поэтому получалось, будто фигура «полоумного» скрывается в тени. Двигался он стремительно, точно таракан: не бежал, но шаги его были настолько громадны, что мне, хоть беги, не догнать его. И кто знает, чего я мялась, чего расправляла это пальто, я теперь просто не угонюсь за ним.

Сейчас, может, и бродяга уже ушёл, только сомнева-

юсь, что шаги его так же громоздки, как шаги «полоумного».

Придя домой, я открутила пробочку бутылки, я её покупала для лечения, когда горло заболело, так и не откупорила тогда, «само пройдёт», и прошло. Заполнила дно стакана. Опрокинула.

*

Однажды, то было вечером, пальцы мои прошли войну, и я погрузилась в ад, и ад был таким: в нём была и надежда.

Я нашла там Иуду (наши тела были так близки, что и змея не смогла проползти между ними), и я выносила его ребёнка, и что я сделала с ним?

«Простите меня. — Шла я по мосту в ночь, говоря так, и чешуя покрывала мои слова, — Простите меня». А святые стояли, и ангелы стояли, и начали они двигаться, в свете не фонарей, но чего-то ещё. Олень с крестом на голове кивал, осёл, поверженной стрелой в грудь, истекал кровью, а рабы освобождались (сколько уже лет?) И я посмотрела в воду. Сиреневыми продолговатыми бликами она шла кое-где поодаль, и птицы по ней, с обеих сторон от моста, двигались медленно,плыли медленно, точно напоззали, и столько их, будто все птицы, что бывали когда-либо на поверхности этой реки, пришли сюда, и сейчас вползут сюда, из подёрнутой сиреневой водной тьмы (не разберёшь, что за птицы там, снизу, и сколько их), и покроют мостовую, и всех ангелов, всех святых, парапет, и ничего не будет видно за движущимся медленно ворохом их тел.

Я перегнулась через парапет: так я хотела перегнуться однажды через перила балкона, но столько там вещей, и столько стекла — никак не подойти, никак не спустить

свою голову вниз, я видела однажды, ива спадала так же своими ветвями, будто перегнулась, и ветви её висели, длинные, как волосы, и не было видно её лица.

Я перегнулась через парапет («простите меня»), и не было слышно крика ребёнка, и не было видно ряби водной, и не было, кроме тьмы, ничего, но двигались в тьме этой птицы.

*

Теперь я слушала простыню, согнувшись на боку в кровати, слушала ухом сползшей с подушки головы, я не спала — три-пятнадцать утра — я думала о бродяге, сейчас он где-то (может быть, неподалёку) был. Он думал о чём-то, или он спал, ему, может, снилось, и он, может, любил? Кого? Как? Как это было?

В вопросах я проваливалась в сон («какая ваша любимая песня?»), потом дёргалась, просыпалась, переворачивалась на спину, смеялась, лёжа, беззвучно, и смотрела на линии света — на потолке, и на длинное, высокое окно за полуоткрытой занавеской. Скоро я незаметно, в тревоге (но тревога та была скорее трепетом, нежели тревогой) уснула.

Утром кожу вокруг губ моих жгло, точно я гуляла по ночи, а не спала, и трескались постепенно углы этих губ — не треснули ещё, но стоит приоткрыть рот, и расходится в трещинах кожа. От чего это? Кричу? «Нет. Молчу. Внутри кричит» — думаю я, но останавливаю себя поутреннему, зло, даже агрессивно, потому как утренняя мысль — неконтролируемая и безразличная.

Я поднялась с кровати, я умылась, и я не смотрела на себя в зеркало подолгу никогда, начиная детством. Я поела немного (сыр, хлеб, «снова сыр и хлеб, к полям, к полям»), и я выпила воды.

Бывает, люди дают обет, дай его я — поползла бы на коленях по ступеням и вышла бы по ним на коленях к мосту, но там пришлось бы подняться на ноги.

Батарейя вовсе выключена была, всю ночь, и окно открыто, но тепло и, может, жарко, и...я, конечно, не знала, откуда пришли (выползли?) за мной, откуда здесь (явились?) все те люди, но я знала, кто мог бы послать их. Интересно, а не среди ли них он? Поднял всех и сам пришёл? Знает ли о том, что я сделала с этим ребёнком? «Нет» — ответила я себе, я разолилась, я встала с кровати и посмотрела, конечно, в окно. Однажды я видела, как чёрный дым поднимается меж деревьями к небу, которое безвкусно голубое, поднимается загогулинами, точно узорами; кручёные шупальца дыма, и они вовсе не представляли опасности: в тот момент звучала музыка, и я не знаю, разгоняла она злых духов, или привлекала их, но, и разгоняемые, и привлечённые, они были красивыми.

С улицы до меня донёсся крик, он услышан был мной так, как слышится, бывает, сквозь сон, если кто-то кричит ночью. Я оттолкнула это подобие подоконника — поцарапанный будто, наверное, просто ободран, и грязный: я любила смотреть на него, как на нечто, содержащие в себе понятие о динамике, и мои позы под уличными фонарями.

Я прошла в ванную.

Я опустилась на пол, и я посмотрела в угол под раковиной. В квартире, где я жила подростком, можно было в таких углах встретить мокрицу, каждый вечер. Мокрица умнее меня, тебя, всех нас вместе взятых, я не устану об этом говорить. Я просидела на полу в ванной, как мне казалось, минут пятнадцать. Тесная, белая ванная,

и душевая кабина здесь, стульчак на унитазе скрипит, когда садишься, а в коридоре, у самого выключателя, овальное пятно побелки на терракоте, и знать не хочу, откуда оно, но знала я, что люди шествуют теперь, да, на одной из городских площадей, время пришло, и они идут, и они или ищут меня, или ждут меня, и что же, мне сидеть, сидеть здесь, и думать, и дальше, вниз, под коврик, под кафель, разложить свои кости, и оставить их здесь? Они будут красивы, так на них и придут полюбоваться.

Я поднялась на ноги, я вышла в прихожую, пальто упало с крючка, и я его не стала поднимать, бугром высились сложенные мной вещи на тумбочке. Я открыла её, и вытащила из-за дверок канистру, в ней было бензина достаточно. Я зашла в душевую кабину, я наклонилась, и я смочила волосы свои бензином. Ещё и ещё. Получше. Волосы-то отрасли, как они нравятся мне, отрасли до середины спины, посмотрите только. Мокрые теперь, я хорошенько полила их, хорошенько пропитала.

Оставив пластмассовую канистру в кабине, запрокинула голову, чтобы волосы упали на спину мою («тяжёлые»), и я оделась, и я вышла, закрыв свою дверь на все повороты ключа, а их было два — два поворота маленького ключика с зелёной колбой, висящей на кольце, это смешно. Будь вместо колбы граната, я тотчас бы взорвалась себя.

*

Проходя по улицам, минуя целые толпы людей (их много сегодня, снова много), я гадала — переливаются ли волосы мои радугой, точно лужа, в которую попал бензин? Я гадала и смеялась, и даже в голос смеялась я коротко, но потом замолкала и становилась серьёз-

ной вновь.

По улицам безошибочно я вышла на главную городскую площадь. Там столпились люди, те самые люди, которые пришли, незваные, сюда, и я остановилась, глядя на них, я остановилась и стала смотреть. Да и бежать-то мне не пристало теперь.

Люди эти выделялись среди прочих — и видом своим, и тем, как организованно они стоят, хоть и толпой — не собравшись ещё строем. Они заняли практически всю площадь, а я — посмотрела на них сначала из-за плеч столпившихся по краям площади людей, потом ближе, а потом, вовсе выйдя из толпы вперёд: и затыкали носы стоявшие около меня — так пахли бензином мои волосы (не переливаются ли?), я же стояла и смотрела на тех, кто ждал меня.

Когда чей-то голос крикнул, люди эти двинулись вперёд, прохожие замолчали, а я осталась впереди, отдельно ото всех, и скоро, выстроившись в колонны, люди с площади стали проходить мимо меня, очень близко ко мне (что они делают здесь?)

Я стояла и смотрела на них, в лицо каждого из них, я была той же, кем назвал меня единожды Иуда, только вместо пиджака на плечах моих висело пальто, знаете, бывает такое, и они... они смотрели на меня, пока шли, один из них, вон, тот, с битой в руке. Они все были бритоголовыми. Они смотрели на меня, пока шли: один гремел чем-то вроде погремушки из сухих плодов и ореховой скорлупы, точно по-браконьерски приманивая меня, ещё один улыбнулся — так, будто не хотел ничего мне сделать, и будто я была лучшей из всех, кого он когда-либо видел, и я улыбнулась в ответ, и я засмеялась беззвучно, с выдохом лишь, и казалось мне, что стою я,

разведя руки в стороны, впуская всех, кто идёт мимо, не только в город, но и в свой дом, внутрь себя, так: я завоёвана. И тогда я кивнула головой, и сказала — не громко, но так, как обычно и говорю — «Это я. Это сделала я».

Они шли и смотрели, и шаги их слились, они маршировали, а я, зная, что остались минуты, шарила по их толпе глазами, чтобы увидеть — здесь ли Иуда. Чтобы понять — за мной ли? Я смотрела, и я не видела его.

Тогда люди остановились. Я же развернулась. Я развернулась — кругом. И я побежала к башне, на вершине её — циферблат, большой, он показывал время.

Я зашла внутрь башни. На площади что-то крикнули, и толпа снова пришла в движение: люди двинулись вперёд, и я услышала топот, ровный. Я бежала наверх: сначала широкие каменные ступени, затем узкие каменные ступени, сквозь стекло виден механизм часов, а стержнем башни — шахта лифта, да, здесь лифт, давно ли? Но я всё бегу — нельзя останавливаться, нельзя этот лифт ждать. Ещё выше. Ещё чуть-чуть. Теперь я почти на самом верху.

Я смотрю на каменные стены, что окружают шахту, а если поднимусь выше — буду на смотровой площадке, поэтому останавливаюсь, и смотрю на каменные стены. На одной из них когда-нибудь, годы спустя, повесят фотографию строя, «в котором ты стоял» — думаю я, но поворачиваюсь спиной к стене, и я встаю на колени.

*

Я встала на колени, и я развела руки в стороны. Я посмотрела наверх, и рот мой был полуоткрыт, а волосы — смочены бензином.

Я падала в шахту лифта, потому что на площади — марш тех, кто пришёл за мной. Когда я узнала об этом, я

сидела на кровати, в одних трусах, и пила воду.

Можно было бы иначе, но я падала в шахту лифта. «Это я. Это сделала я».

*

После того, как я упала, что-то происходило вокруг: кто-то волновался за своих детей, кто-то мёрз, в тихом торжестве стояло у церкви тринадцать человек, и, вроде бы, смеркалось, и свет падал на памятник у моста, не деля его, но ровно чертя линии, по которым смотрел, куда пасть, я видела — складки ткани на колене освещены, замершие, «потрогать бы».

Пока не стемнело совсем, я смотрела, где бы мог быть, а потом, увидев, как пошарил больными своими руками в урне, подождала — не нашёл ли что — и последовала за ним. Бродяга остановился в переулке, под крышей какого-то здания, положил в карман вытащенные из урны листы (сдались они ему), и начал рассматривать свои руки, им было больно. Я смотрела на бродягу. А он стоял так и смотрел на свои руки.

Я сошла к нему — в свете бледном, но тёплом. Я спустилась, и цветы были вокруг плеч моих, и цветы — в волосах моих; было тело моё в ткани, вышитой на груди, и волосы лежали извивами по плечам моим. Я свечусь — светом бледным, но тёплым, — я свечусь — кожа моя, одежда моя, глаза мои, и цветы в волосах моих.

Я сошла к бродяге, я встала перед ним, и я коснулась рук его, и исчезла корка болезни с них. И тогда я обняла бродягу, и прижала его к своей груди. Бродяга тоже обнял меня, а потом упал на колени, и лицом он уткнулся в ткань, что крыла моё тело. Я же держала его руки.